

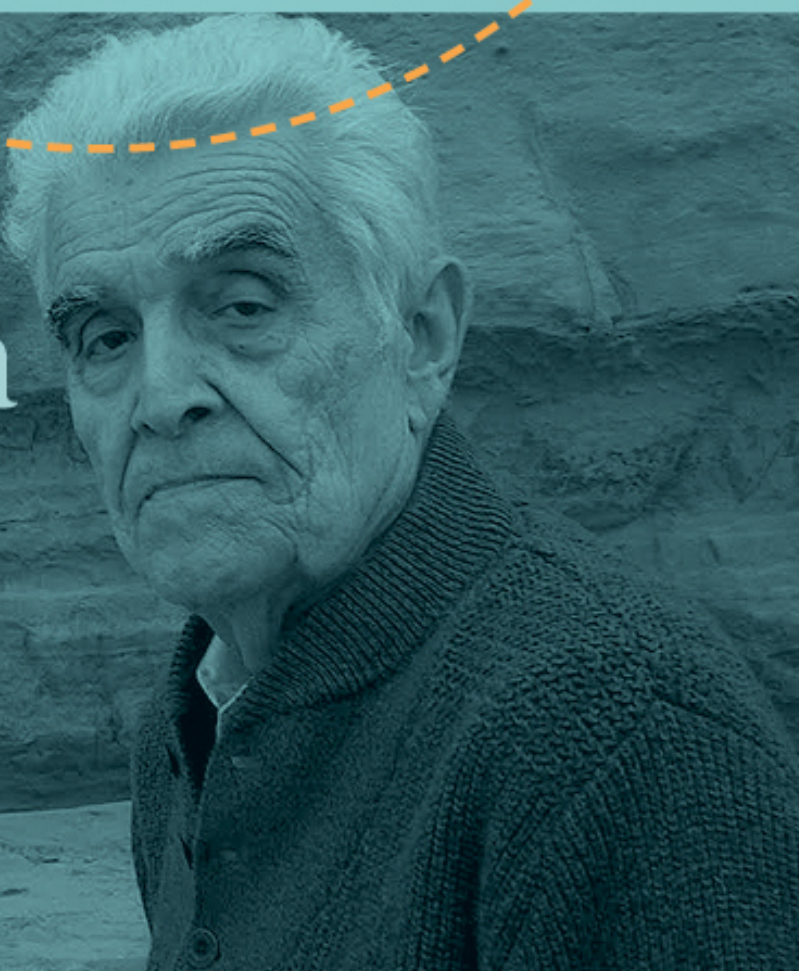


Синтия Л.

Эволюция желания

ХЭВЕН

Жизнь
Рене
Жирана



Интеллектуальная история

Синтия Л. Хэвен

**Эволюция желания.
Жизнь Рене Жирара**

«НЛО»

2018

Хэвен С.

Эволюция желания. Жизнь Рене Жирара / С. Хэвен — «НЛО», 2018 — (Интеллектуальная история)

ISBN 978-5-44-481606-6

«Любое желание – это желание быть», – говорил знаменитый франко-американский философ Рене Жирар. Именно наши желания определяют, кто мы есть, однако нам они не принадлежат: будучи миметическими (подражательными и зеркальными), они превращают нас в бесконечную серию чужих отражений. Желание – это эволюция длиною в жизнь: мы начинаем подражать еще детьми, соперничаем в школе и на работе, хотим все большего, страдаем, не получая желаемого, и раскаиваемся на смертном одре. Книга Синтии Хэвен – первая в своем роде биография Жирара, основанная на беседах с ним самим, его близкими, друзьями и коллегами из Франции и США. Жизнь мыслителя предстает в ней иллюстрацией к его теории, которая раскрывается не как отвлеченная умозрительная концепция, но как философия для жизни, которую он первый же и стремился практиковать. Годы учебы в родном Авиньоне и промозглом оккупированном Париже, судьбоносный переезд в США, религиозное обращение в конце 1950-х, открытие насильственных истоков культуры, сомнения, признание и его соблазны – читатель узнает, как разворачивалась его духовная и творческая эволюция от первой работы «Ложь романтизма и правда романа», через фундаментальную «Насилие и священное» к мрачным апокалиптическим пророчествам его заключительной книги «Завершить Клаузевица».

ISBN 978-5-44-481606-6

© Хэвех С., 2018

© НЛО, 2018

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	13
Глава 3	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Синтия Л. Хэвен
Эволюция желания. Жизнь Рене Жирара

*Посвящается Рене, со всей моей любовью
(но любовь эта не треугольная)*

Глава 1

Введение

В 1871 году, вооружившись томиком «Илиады» и лопатой, Генрих Шлиман принялся искать Трою. И спустя два года наткнулся на золото.

Шлимана поносили, называя дилетантом, авантюристом и аферистом.

Когда спустя несколько десятков лет археологи усовершенствовали методы раскопок, Шлиману предъявили еще одно обвинение – он, мол, невольно уничтожил многое из того, что пытался найти.

И все же он отыскал потерянный город. Прослыл первооткрывателем доисторической греческой цивилизации для своей эпохи. Вдохновил взрыв интереса к гомероведению в конце XIX века. Вдобавок – и это всего важнее для нашего сопоставления – Шлиман не только в буквальном, но и в фигуральном смысле начал копать там, где до него не копал никто: он вчитался в слова, из которых составлен текст, и поверил, что в них содержится истина.

«Скажу то, что говорю уже много лет: в глобальном смысле Шлиман – лучший аналог того, что Рене Жира олицетворяет в антропологии и социологии, – сказал Роберт Поуг Харрисон, стэнфордский коллега этого французского теоретика. – Его великое открытие, как и открытие Шлимана, раскритиковали за неверную методику. Другие никогда не отыскивали бы Трою таким способом, как изучение художественной литературы, – у них просто не хватило бы воображения». Однако в трудах Жира содержатся откровения даже еще более существенные, чем открытие Трои: в них описаны корни насилия, уничтожавшего на протяжении истории человечества то Трою, то другие империи.

Этот член Французской академии доверял литературе, как и Шлиман, – считал ее вместилищем истины и правдивым отражением реальных событий. Харрисон сказал мне, что Жира преданно служил не какой-либо узкой научной дисциплине, а непреходящей общечеловеческой истине: «Научные дисциплины привержены больше методологии, чем истине. Рене не учился на антрополога, точно так же как Шлиман – на историка. С точки зрения научной дисциплины это беззащитная недисциплинированность. Ему этого до сих пор не простили».

Аналогия показалась мне ценной, хотя некоторые другие друзья Жира непременно бросятся оградить его от таких сравнений, поскольку Шлиман – фигура скандальная. Впрочем, Жира тоже кое-кого скандализировал: в академической среде многие скрежещут зубами из-за некоторых высказываний Жира, выдержанных в непререкаемом – ни дать ни взять пап римский *ex cathedra* – тоне (но разве еще несколько современных французских мыслителей высказываются менее категорично?). По нашу сторону Атлантики Жира, хоть он и был одним из немногочисленных на американской земле *immortels* – членов Французской академии, – так и не удостоился подобающего ему признания.

И все же от Шлимана Жира отличается тем, что для него литература – не просто письменные свидетельства, где оставили свой след исторические факты, но и архив самопознания. Жира начинал свою публичную деятельность в сферах теории литературы и литературной критики, с изучения писателей, чьи главные герои стремятся отринуть свое «Я» и вырваться за пределы своей индивидуальности. В конце концов его исследования приобрели кросс-дисциплинарный характер, переместившись в вотчины антропологии, социологии, истории, философии, психологии, теологии. Мысль Жира, в том числе проводимый им текстовый анализ, предлагает всеобъемлющую интерпретацию природы человека, истории человека и удела человека. Давайте кратко напомним ряд его важнейших выводов.

Он опроверг три широко распространенных исходных допущения касательно природы желания и насилия: первое допущение гласит, что желание человека – искренно и возникает

у него самого; второе – что мы ссоримся из-за того, чем мы различаемся, а не из-за того, что мы абсолютно похожи между собой; а третье – что религия есть причина насилия (Жирар утверждал бы, что религия – архаический способ держать под контролем внутреннее насилие в сообществе).

Его занимала тема «метафизического желания» (его собственный термин) – иначе говоря, желания, которое мы испытываем, когда нет проблем с удовлетворением наших животных потребностей в пище, воде, сне и безопасном укрытии. В этом плане Жирар наиболее известен, пожалуй, концепцией опосредованного желания, которая родилась из наблюдения, что человек перенимает желания других людей. Если вкратце, мы хотим заполучить то, что хотят заполучить другие. Хотим именно *потому, что* это хотят заполучить они.

Подражание – вот что движет поведением человека. Мы как-никак – животные общественные. Путем подражания мы учимся: благодаря подражанию начинаем говорить, не будь подражания, не пользовались бы при еде ножом и вилкой. Подражание – вот благодаря чему реклама «работает», целое поколение решает проколоть себе язык или щеголять в рваных джинсах, поп-композиции взлетают на вершины хит-парадов, а акции стремительно растут или падают.

Сегодня понятие мимесиса далеко не чуждо общественным наукам, но никто не делал его стержнем теории соперничества и насилия у людей так, как начиная с 1950-х годов это сделал Жирар. Фрейд и Маркс ошибались: первый предположил, что стройматериалом для поведения человека служит сексуальность, второй считал, что основа всего – экономика. Но подлинный ключ к разгадке – «миметическое желание», предшествующее и сексуальности, и экономике, движитель их обеих. Именно подражание пробуждает в нас похоть и диктует на Уолл-стрит тренды в биржевой торговле. Когда реклама «Кока-колы» зазывает вас пригубить этот напиток и таким образом присоединиться к гламурной компании на пляже, миметическое желание не предполагает, что у кого-то что-то отнимется – запасов «Кока-колы» хватит на всех. Проблемы возникают, когда потребление приходится ограничивать из-за дефицита или когда завистливый взгляд примечает что-то, чем поделиться невозможно или чем владелец делиться категорически не желает: мужа или жену, наследство, угловой кабинет на верхнем этаже офиса.

Исходя из этого, Жирар утверждал, что миметическое желание – не только наша манера любить, но и причина наших ссор. Если двое тянут руки к одной вещи, рано или поздно оба стиснут кулаки. Вспомним «Сон в летнюю ночь», где пары распадаются и перекомбинируются, а дружеские отношения рвутся оттого, что двое мужчин вдруг возжелали одну и ту же женщину. Все, что желанно двум-трем людям, скоро станет желанным для всех. Миметическое желание распространяется подобно заразе, когда несколько человек «кладут глаз» на один объект: человека, должность или материальное благо, воспринимаемое как ответ на молитвы или как решение проблемы. Даже конфликт, и тот становится образцом для подражания и «отплаты той же монетой».

В конце концов в некоем индивиде или группе людей начинают видеть тех, кто ответствен за инфицирование всего общества, – обычно это чуждые ему люди, те, кто не может или не хочет дать сдачи: это означает, что на этом человеке или группе ввиду их положения может оборваться эскалация циклической мести. Потому-то виноватыми назначаются иностранцы, калеки, женщины, а иногда – король, обособленный от общества тем, что высоко вознесся над чернью. Жертву убивают, или изгоняют, или выставляют к позорному столбу, или устраняют каким-то иным способом. Этот акт объединяет конфликтующие фракции и дает выход колоссальному социальному напряжению, восстанавливая согласие между индивидами и внутри сообщества. Козел отпущения является вначале преступником, а затем становится божеством; самое же главное – что козел отпущения одновременно является преступником и божеством, так как способность единолично либо даровать обществу мир и согласие, либо принести в него войну и насилие считается сверхъестественной. В Колоне обожествляют Эдипа, Елена

Троянская восходит на Олимп, а прямо в то время, когда Жанну д'Арк сжигают на костре, по толпе пробегает шепоток: «Мы убили святую!» Архаическое религиозное жертвоприношение, утверждал Жирар, – ни больше ни меньше как ритуальная реконструкция убийства козла отпущения, попытка воззвать к магическим силам, когда-то предотвратившим общественную катастрофу. Он предложил полную деконструкцию религии, совершенно как и подверг деконструкции желание.

Он не только заменил желание, описанное Фрейдом, более четким понятием мимесиса, но и в период, когда большинство не принимало эту книгу, взглянул по-новому на фрейдовское «Тотем и табу» – этот экскурс психоаналитика в области археологии и антропологии. Жирар развил, продвинувшись на шаг вперед, содержащиеся в «Тотеме и табу» понятие коллективного убийства и догадку, что убийство – фундамент культуры. Он подтвердил значимость книги Фрейда, но в конечном итоге опроверг ее своими дерзкими, опирающимися на эрудированное знание аргументами.

Его следующий шаг оказался наиболее провокативным из всех: он описывает уникальность иудео-христианских текстов, а она – в том, что эти тексты вскрывают безвинность козла отпущения и тем самым ломают механизм, который, позволяя жертве одновременно быть преступником и искупителем, допускал насильственное решение проблемы общественного насилия. Отныне мы не можем убивать так, чтобы наша совесть при этом оставалась чиста. Конкретные люди и группы людей даже соперничают за престижное звание жертвы на своего рода «Олимпиаде притеснений», а власть имущие переходят от нападения к обороне. Войны все еще случаются, но заканчиваются без четкого разрешения конфликта. Международное соперничество продолжает нарастать, устремляясь к неопределенным развязкам. Сегодня на кон поставлено как никогда много: мы балансируем на грани ядерной войны.

У читателей, которые впервые познакомятся с Рене Жираром только на страницах этой книги, невольно возникает вопрос: отчего в мире, день ото дня наводняемом новой информацией, нас должны интересовать книги, интервью, статьи и жизнь человека, тихо умершего на сотом десятке лет в конце 2015 года? Для начала я отмечу, что Жирар – поборник длинных мыслей в мире, предпочитающем мысли покороче и побанальнее. Это один из немногих настоящих мыслителей нашей эпохи. Многие пытались рассортировать его работы по разным категориям сообразно его пестрым интересам (интересам к литературе, антропологии, религиям) или разным фазам его научной деятельности (мимесис, механизм козла отпущения, жертвоприношение). Однако Жира невозможно разять на части, потому что фазы его работы – не пестрые моменты «многосерийной» жизни одного человека. В них явлена суть его интеллектуальной, эмоциональной и духовной вовлеченности в историю XX века и его личных попыток раскусить ее смысл. Журналисты – и не только они – чаще всего выпячивают какой-то один элемент его мыслей, чтобы подкрепить аргумент в текущей дискуссии, но при этом не учитывают контекст целого. Однако попытки втиснуть Жира в готовые рамки выдают нашу потребность в самоуспокоении. Сортировать мысли Жира по разным интеллектуальным категориям – безусловно, ошибка. Сделать это невозможно, да и не следует по той простой причине, что если вы это делаете, то *сами* не изменитесь. А в том, чтобы изменить способ бытия человека, и состоит в конечном итоге подлинно стержневая идея Жира.

«Любое желание – это желание быть», – заметил однажды он¹, и эта формулировка, из которой вытекают поразительные выводы, – стрелка, указывающая на выход из наших метафизических проблем. Мы хотим того, чего хотят другие, потому что верим, что «другой» обладает внутренним совершенством, которого мы лишены. Нас иссушает желание *быть* этими богоподобными другими. Мы надеемся, что, заполучив их внешние атрибуты (их автомобили,

¹ См.: Girard R. When These Things Begin: Conversations with Michel Treguer. East Lansing: Michigan State University Press, 2014. Ch. 2. – Примеч. ред.

одежду от их кутюрье, их круг друзей), приобретем и их метафизическую собственность: авторитет, мудрость, независимость, самореализованность – свойства, которые по большому счету в основном нам только мерещатся.

Подражание заставляет нас вступать в прямую конкуренцию с любимым, с соперником, к которому мы в конце концов проникаемся ненавистью и обожанием, а он/она предпринимает ответные действия, обороняя свои владения. Когда соперничество обостряется, соперники все больше и больше копируют друг друга – даже если копируют лишь образ себя, отраженный в чужом зеркале. Со временем *objet du désir*² теряет свое значение, отходит на второй план или оказывается пустяком. Соперники одержимы друг другом и своей схваткой. Сторонних наблюдателей втягивают в конфликт, убеждая «решить, на чьей они стороне»; таким путем конфликт может распространить на все общество циклы ответного (а значит, подражательного) насилия и борьбы за верховенство.

Вот почему теории Жирара – взрыв, направленный внутрь, а не вовне. Если вы применяете эти инструменты для того, чтобы исправить несовершенного *Другого*, – значит, вы не уяснили суть. Желание – явление не индивидуальное, а общественное. *Другой* колонизировал ваше желание задолго до того, как вы отдали себе отчет в этом желании. А призрачное существо, которым вы завистливо жаждете «быть», ускользает, едва вы пускаетесь в погоню. Жирар приглашает вас спросить у самих себя: «Перед кем я преклоняюсь?» Пламя, разожженное его трудами, – вовсе не страстная любовь к древней Месопотамии, древнегреческим текстам или горстке его любимых писателей. Нет, его исследования – приглашение к тому, чтобы вы подожгли стул, на котором сидите. Чтобы вы запустили процесс, через который прошел и сам Жирар. Марсель Пруст, один из его любимейших писателей, написал в своем главном произведении:

О своей книге (я) размышлял более скромно, и едва ли точно будет сказать, что я думал о тех, кто прочтет ее, о читателях. Мне кажется, что они будут не столько моими читателями, сколько читающими в самих себе, потому что моя книга – лишь что-то вроде увеличительного стекла, вроде тех, что выдает покупателям комбрейский оптик; благодаря книге я открою для них средство чтения в себе. Так что я не напрашивался бы на хвалы и хулы, я только хотел бы, чтобы они сказали мне, одно ли это, и слова, что они читают в себе, те же ли, что и написанные мной...³

Очевидно, Жирар непоколебимо верен наследию, которым в последние полтора столетия пренебрегают, – *grand récit*, то есть метанарративу, предлагающему всеобъемлющую, телеологическую картину мира. Он идет вразрез с традицией западной философии, все больше сужающей круг того, что могут описывать философы. Жирар – а по масштабу интеллекта и амбиций он мог потягаться с самыми выдающимися мыслителями нашей эпохи – один из последних представителей этой особенной породы: он изящно описывает широчайшие панорамы реального бытия человека таким слогом и в таком стиле, какие редко встретишь в трудах по общественным наукам.

Сегодня мы говорим о войне, соперничестве, насилии и конфликте, а бывшая мода – увлечение понятиями «знака» и «означающего» – устарела и, возможно, вскоре почти забудется. Собственно, можно утверждать, что заметное место в нашей культуре таких терминов, как «козел отпущения», «жертвоприношение», «социальное заражение» и, безусловно, «мимесис», – заслуга Жирара. Естественно, не он ввел эти термины в обиход, но их широкое употребление, возможно, отчасти обусловлено их постоянным акцентированием в его исследова-

² Объект желания (фр.).

³ Пруст М. Обретенное время / Пер. А. Година.

ниях. То, как обостренно мы подмечаем само явление поиска козлов отпущения, – пожалуй, дань уважения его мыслям. Жирар по любым критериям – гигант мысли XX века.

Все вышесказанное звучит очень красиво, но я смотрю на Жирара иными глазами, чем большинство его почитателей. С Рене Жираром я познакомилась не через знакомство с его теориями или книгами, а благодаря личному общению с ним. В отличие от многих писавших о нем, я пришла к его исследованиям не путем, который вел бы от книг к дружбе, а благодаря тому, что Жирар отнесся ко мне по-доброму, радушно и дружелюбно. Я старалась всегда помнить, что не всякий читатель станет углубляться в его работы, но даже такой читатель все равно сочтет важными мысли, которые он нес миру.

Эта книга – прежде всего портрет человека в контексте его жизни и времени, ее цель – в том, чтобы читатель не только поразмыслил над идеями Жирара, но и *прочувствовал* их, видя в них динамику, работающую в человеческом обществе, а не непреклонно навязываемую научную формулу. Таким путем я надеюсь сформировать широкий круг читателей – не фанатичных адептов, а образованных неспециалистов, которые наверняка заинтересуются вопросами, заданными Жираром, и захотят ознакомиться с его размышлениями в общих чертах; согласятся ли они с его ответами – уже несущественно. Эти читатели воспримут его работы не как теорию, требующую либо подтверждения, либо опровержения, а как эвристическую рамочную структуру, помогающую более дельно описать то, что мы видим вокруг. Я лично уверена, что мысли Жирара приложимы к широкому спектру ситуаций и важны для широкой аудитории. Их способности объяснять мир подвластны как международная политика, так и мемы в ежедневной ленте новостей в твиттере. Однако я не считаю (да и сам он так не думал), что его теории – единственная оптика для решения этих проблем. Телескоп – полезнейший инструмент для созерцания звезд, но для обнаружения микробов куда как сподручнее микроскоп. А чтобы любоваться пейзажем, микроскоп не подходит – он не заменит бинокль. Мы пользуемся тем прибором, который помогает нам яснее *видеть*. То, что многие работы Жирара написаны в форме дискуссий или бесед (например, его главный труд – целая книга в формате «вопрос – ответ»), не располагает к догматизму. «Я все излагаю как можно более систематично, чтобы вы смогли *доказать, что это неверно*», – уведомлял он своих критиков⁴, но я считаю, что интуитивистом он был не в меньшей мере, чем рационалистом. Пусть он и гордился собой как французским интеллектуалом, но в то же время был – *malgré lui*⁵ – визионером.

Как он однажды заметил со свойственной ему уклончивостью: «Эта личная вовлеченность вопрошающего, которую невозможно убрать за скобки, а заодно, с другой стороны, всеобъемлющий характер вопроса придают моим исследованиям „философский“ и даже „религиозный“ оттенок, из-за которого они, возможно, никогда не станут „научными“ в глазах ученых. Означает ли это, что наша научная культура может игнорировать этот вопрос? И, по большому счету, может ли она позволить себе его игнорировать?»⁶

Во всей этой книге, с начала до конца, я шла на поводу у своего личного предвзятого убеждения, которое разделял и один из любимых писателей Жирара. Вот как это сформулировал профессор, которого я знала по Мичиганскому университету, – ученый-славист и издатель Карл Проффер (издательство «Ardis Books»): «Достоевский уверял, что тебя учит *жизнь* – а не теории, не идеи. Посмотри, куда людей заводит в итоге их жизнь, – и это научит тебя истине»⁷. Для научного наследия Жирара лучшая рекомендация – он сам. Жирар в общем и целом жил по принципам, которые проповедовал, и, практикуя их, постепенно совершенствовался. Я знаю по собственным наблюдениям, каким колоссальным чувством собственного

⁴ Haven C. History Is a Test. Mankind Is Failing It // Stanford Magazine. July/August 2009. P. 8.

⁵ Вопреки самому себе (*фр.*).

⁶ Girard R. Conflict // Stanford Magazine. Winter 1986. P. 60.

⁷ Miłosz C. A Conversation about Dostoevsky // Michigan Quarterly Review. Fall 1983. Vol. 22. P. 548.

достоинства он обладал, какой примечательно безмятежной, исполненной взаимной преданности была его супружеская жизнь, как он был трудолюбив, как верен друзьям, с которыми дружил всю жизнь, с какой неизменной учтивостью общался с новыми знакомыми – такими, как ваша покорная слуга. Некоторые утверждали, что эти ласковость и нежность были побочным эффектом преклонного возраста, но точно так же можно было бы утверждать, что старость приводит к застою, раздражительности и косности. По крайней мере, когда я заглядывала к нему в гости, он до конца своих дней оставался жизнерадостным, любознательным и неунывающим. Он был великий человек и мудрый человек; мне доводилось знать других великих и других мудрецов, но ни один из них не обладал такими чертами характера, как Жирар; его личные качества произвели на меня самое благоприятное впечатление еще до того, как я познакомилась с его научными трудами.

Однако он не жаждал быть героем и сам постарался преуменьшить значение своей личной истории. «В двадцать три года я уехал из Франции в США. Преподавал в нескольких университетах, женился, обзавелся детьми. В летние каникулы много раз ездил с семьей во Францию и в Европу, а также провел там несколько лет в творческих отпусках, – писал он. – Итого, по меркам второй половины XX века, жизнь довольно банальная»⁸.

Я же – как и подозревала с самого начала – обнаружила, что это далеко не исчерпывающий рассказ. Пусть со стороны его жизнь и казалась безмятежной, на его долю тоже выпали душевные волнения и страдания. В разговорах со мной и другими Жирар со стоическим постоянством преуменьшал значение событий и силу своей реакции на эти события, даже когда его версия не вязалась с воспоминаниями очевидцев. Тем, кто порицал его за высокомерие, следовало бы обратить внимание на его скромность: «Я не утаиваю свою биографию, но не хочу пасть жертвой нарциссизма, к которому все мы склонны»⁹. Обычно говорят, что описывать чью-то жизнь – значит разочароваться в герое биографии. Я рада сообщить вам, что этого не произошло. Исследуя величайшие литературные произведения, Жирар всегда уверял, что история романа – это и история его автора. То же самое мы можем сказать о Жираре и совокупности его трудов. Но Жирар самовыражался не в художественной литературе, а в области наук о человеке. Писал красноречивым, живым и убедительным языком. Однако жизненный опыт, стоящий за его теориями, до сих пор оставался в тени. Его книги уже в нашем распоряжении; а здесь перед вами – намеченная в общих чертах траектория его жизненного пути.

⁸ Girard R. Souvenirs d'un jeune français aux États-Unis // René Girard / Ed. by M. Anspach. Paris: Éditions L'Herne, 2008. P. 29.

⁹ Girard R. When These Things Begin. P. 129.

Глава 2

Путеводная звезда

*Изобразит, как будто бы призванье
Его – бесчисленное подражанье.*

Уильям Вордсворт, «Откровения о бессмертии»

Город небольшой, а дорожное движение стремительное. Мне следовало либо срочно и решительно свернуть с автостреды, либо, отдаляясь от неподвластных времени центральных кварталов Авиньона, поехать прямо, и тогда полуденный поток автомобилей, увлекая за собой мой взятый напрокат серебристый «ситроен», направил бы меня, словно центробежная сила, либо к Роне, либо к Ле-Понте и Барбантану.

Современная кольцевая автомагистраль льнет к старинным укреплениям, крепко обнявшим город. Легко отвлечься от дорожных знаков, когда едешь мимо семисотлетних стен – высоких, белых, с зубцами поверху и тридцатью девятью массивными башнями. «Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – в чертогах твоих!» – восклицал Псалмопевец (Пс 121:7), и в былые времена жители этого провансальского города наверняка искренне рассчитывали, что стены и башни обеспечат им защиту и могущество. Но нынче те же архитектурные памятники – словно ладьи на гигантской шахматной доске, где партия, беспрерывно длившаяся несколько столетий, приостановлена в ожидании следующего хода.

Сверни на съезд, ведущий к городу, и внезапно обнаруживаешь, что ты уже на месте: прямо перед тобой – Папский дворец, самое большое и одно из самых впечатляющих в архитектурном отношении готическое здание всего христианского мира; неприступный и величественный, дворец словно вырастает из Домской скалы. Цитадель, отбеленная солнечными лучами, повелевает городом, и потому кажется совершенно естественным, что автомобилям въезд воспрещен, а самый эффективный способ передвижения обычно – пешком.

Сегодня Авиньон – небольшой провинциальный город с руинами и музеями, школами и магазинчиками, и его величественный лик упрямо обращен в прошлое. Но когда-то он шел в авангарде истории: то был центр средневекового христианства, город пап и антипап в краях святых и еретиков. Для Рене Жирара Авиньон – место, где он провел важнейшие для формирования его личности годы, город, оставивший на нем неизгладимый отпечаток. Отец Жирара был хранителем Папского дворца и видным специалистом по истории города и региона, а значит, душа юного Рене просто обязана была впитать долгое прошлое Авиньона, хотя впоследствии Жирар и преуменьшал его очарование.

«Если ты родом из Авиньона, это не так уж и романтично. В чем-то он больше похож на итальянские города, чем на французские, – сказал однажды Жирар. – Это, в сущности, юг, и люди больше, чем на севере Франции, склонны проводить время под открытым небом. Разница между севером и югом Франции довольно велика... До моря неполных 50 миль. Но это не Ривьера, а маленький провинциальный город».

И все же Авиньон часто всплывал в разговорах. Я всегда подозревала, что этот город упрочил невосприимчивость Жирара к модным интеллектуальным веяниям и предвзятым представлениям парижской интеллигенции. Жирар так никогда и не утратил рудименты медлительного, мягкого, слегка певучего авиньонского выговора. Он находил забавным, что я интересуюсь его родным городом, но за внешней безмятежностью Авиньона скрывается бурная история, и я чувствовала, что Жирар втайне, как водится у старожилов, гордится городом, который сам же пренебрежительно величал «провинциальным».

Жира нечасто говорил о своей жизни, если я не приставала к нему с расспросами, зато его город мог поведать мне свою историю. Город оказался разговорчивым и красноречивым – и захочешь, не заткнешь.

Жира разъяснил мне, что бурная и яростная Рона, огибающая город, делит Францию на зоны влияния: к западу от Роны – испанская, к востоку – итальянская. Восток пошел с козырей, предрешив судьбу Авиньона в Средние века. Авиньон и Рим. Около сотни лет соперничество этих двух сил, сцепившихся в поединке, раздирало Европу надвое, раскалывая Церковь и государство, власть духовную и власть светскую. То, что здесь родился человек, разработавший теорию мимесиса, соперничества и конфликта, – не просто игра случая.

В описываемые времена непостижимая шахматная партия была в полном разгаре. Папский престол – нечто единственное в своем роде, соблазнительный трофей. Кто завладеет им? И кто из земных монархов подчинит своему влиянию самодержца, чья власть не от мира сего? Беспрерывные конфликты, коррупция и свары в средневековой Церкви и между государствами, имевшими с ней дело, превратили Вечный город в негостеприимное и даже опасное место для римских пап: там лучше было даже не снимать выюки с лошадей. Потому-то в 1309 году папа Климент V и выбрал Авиньон, на тот момент входивший в состав Арльского королевства.

Его решение не было беспрецедентным. В Средневековье папы и раньше сбегали из Рима. Но Климент V повысил ставки в игре – отказался покинуть Францию после того, как в 1305 году в Лионе его провозгласили папой.

Спустя несколько лет он обосновался в Авиньоне, к тому времени успевшем побывать под оккупацией у римлян, сарацин, франков, бургундцев, остготов и мавров. В тот момент Авиньон был довольно тихим и захолустным городком, но в захолустье часто происходят интересные события.

Данте заклеил Климента V: «...вслед, всех в скверне обогнав, / Придет с заката пастырь без закона...»¹⁰. За Климентом последовала целая череда пап-французов, причем их друзей и родичей делали кардиналами, что становилось дополнительной помехой для всех попыток вернуть папский престол в Италию. Иоанн XXII, преемник Климента, продолжил строительство в Авиньоне, превратив его в один из самых могущественных и хорошо укрепленных городов Европы. Мы можем счесть, что пребывание пап в Авиньоне – лишь мелкая подробность истории, но такой подход будет означать лишь, что взгляд из нашей эпохи необъективен. В ту эру расцвели два из величайших гениев позднего Средневековья. Начало работы Данте над «Божественной комедией» примерно совпало с началом авиньонского папства – потрясений, которые, возможно, стали одним из мотивов создания дантовского шедевра. Поскольку действие «Commedia» начинается в 1300 году – за пять лет до того, как Климент V стал папой, – легко запомнить, что, когда Данте переживал свой творческий расцвет, центр католической церкви был не в Италии, а во Франции.

Тем временем, на заре «вавилонского пленения пап», семейство Петрарка последовало за папой Климентом V в Авиньон, покинув Инчизу, городок в окрестностях Флоренции: отец Франческо Петрарки близко дружил с Данте и, подобно ему, был изгнан из Флоренции. В Авиньоне Петрарка повстречал Лауру, свою возлюбленную: она родилась в этом городе в 1327 году. Встретились они в Великую Пятницу, а умерла она тоже в Великую Пятницу, спустя ровно двадцать один год с того часа, когда Петрарка увидел ее впервые. Не будь на свете авиньонки Лауры, у нас не было бы и «Канцоньере» Петрарки. Чтобы убедить папу вернуться в Рим, потребовалось вмешательство святой – а именно Екатерины Сиенской, – но за этим переездом последовали годы Великого западного раскола, когда папы из Рима и антипапы из Авиньона боролись за главенство. Европу обескровила необходимость кормить две папские резиденции

¹⁰ Данте Алигьери. Божественная комедия («Ад», Песнь 19) / Пер. М. Лозинского.

и два административных органа Святого Престола. К тому времени захолустье превратилось в изысканный город, стремившийся затмить Рим. Появились Папский дворец, Малый дворец, церковь Святого Дидье и кольцо белых крепостных стен.

Отец наверняка рассказывал Рене Жирару об этом, ведь их семья неразрывно срослась с историей Авиньона. А сын, Рене, вернулся в ту эпоху и местность, когда в Национальной школе хартий засел за дипломную работу о второй половине XV века, начав с момента, когда Великий западный раскол закончился; его выбор определенно подчеркивает, как глубоко въелась эта история в его сознание.

* * *

Рене Ноэль Теофиль Жирар родился вечером на Рождество в 1923 году в комнате, за которой «присматривала» картина в темно-медовых тонах с изображением полудюжины коз. Та самая картина впоследствии висела в гостиной семьи Жирар в Пало-Альто: пасторальная идиллия XIX века на стандартную тему – пастух объясняется в любви пастушке, поодаль другие молодые люди заняты крестьянским трудом среди резвящихся коз. Не сказать, чтобы на картине были изображены «козлы отпущения», но гостям иногда указывали с лукавой улыбкой на это почти сбывшееся предзнаменование.

Хотя второе имя Жирара указывает на провидческое чутье при выборе дня рождения, в действительности имя Ноэль было позаимствовано то ли у деда, то ли у прадеда – возможно, по материнской линии. Его мать происходила из Буше (департамент Дром, регион Рона-Альпы). Ее род жил в Провансе несколько столетий и когда-то владел шелкопрядильными фабриками в городе Сериньян-дю-Конта. В этих краях фамилия де Луа доселе ассоциируется с производством шелка. Жирар говорил, что его семейство принадлежало к «старой обедневшей буржуазии»¹¹. Родня и по отцовской, и по материнской линии жила не так зажиточно, как их предки, и не смогла принести успех нескольким своим предприятиям и затеям, но в родных краях члены этих семейств занимали видное положение в обществе и были в большой чести. Жирар вспоминал, что освоил лишь начатки провансальского языка – этого рудимента былых времен, напоминающего, что в эпоху авиньонского папства обитатели региона были во многом отдельным народом, да и в последующие столетия оставались таковым. Визит в архив департамента Воклюз – его помещения выдолблены в толще скалы, на которой держится Дворец, – помогает осознать, что Авиньон доселе остается маленьким городком, где все между собой связаны. У Бландин Сильвестр, стройной и серьезной сотрудницы архива, есть свои пересечения с семейством Жирар: одно время она жила в доме 12 на рю де ла Круа – по тому же адресу, что и когда-то Жирары. Но первая догадка Сильвестр не подтвердилась: там обитал не Рене Жирар, а его отец со своими родителями, то есть дедом и бабкой Рене. Мадам Сильвестр выдвинула старомодный деревянный ящик каталожного шкафа с материалами об отце Жирара, Жозефе Фредерике Мари Жираре (1881–1962); то были шесть десятков библиографических карточек с информацией о книгах и статьях. Однако Жозеф, архивист-палеограф, был известен не только как ученый. Он был хранителем Папского дворца, а еще раньше, с 1906-го по 1949 год, хранителем маленькой авиньонской сокровищницы – музея изящных искусств Кальве, занимающего великолепный особняк XVIII века.

Жирар говорил, что его мать была женщина умнейшая и даже свободомыслящая. Мари-Тереза де Луа Фабр (1893–1967) была в некотором роде местной знаменитостью – одной из первых женщин в регионе, получивших степень бакалавра, то есть полное среднее образование. В 1808 году, когда Наполеон учредил «лё бак», эту степень получил всего тридцать один человек; в 1931 году экзамены на степень бакалавра сдали лишь 2,5% французских граж-

¹¹ Girard R. When These Things Begin. P. 79–80.

дан соответствующей возрастной категории¹²; иначе говоря, ее наличие свидетельствовало об исключительной одаренности.

Сегодня мы знаем о родне Жира по отцовской линии, наверно, больше, чем о родне по материнской, и все же складывается впечатление, что в 1920 году мадемуазель Фабр вышла замуж за человека, стоявшего в социальной иерархии чуть ниже. Жозефу Жира, наоборот, посчастливилось жениться на девушке из старого рода из Конта – винодельческого района в окрестностях Авиньона (там делают рубиново-красное вино «Шатонёф-дю-Пап», первоначально предназначавшееся для авиньонских пап – больших любителей горячительных напитков). Вскоре после свадьбы родители жены разрешили молодым переехать в их дом с большим садом и платанами по адресу Шеман де л'Аррузер, дом 7 к югу от крепостных стен. Марта, супруга Рене Жира, припомнила фразу, проливающую свет на то, как изменилась после свадьбы жизнь его матери: обучая Марту готовить, та упомянула, что ее саму в детстве не приучали кухарничать. Фирменные блюда мадам Жира-старшей были, как и следует ожидать, простыми и непретенциозными.

В любом случае род матери Жира был настолько благородного происхождения, что во времена Французской революции опасался гонений. В недавние годы кто-то из родни прислал Жира свидетельство о восстановлении фамилии де ла Луа – ее когда-то урезали до Делуа, чтобы во времена робеспьеровской Эпохи террора смотрелась и звучала менее аристократично и, следовательно, не столь опасно.

Жозеф и Тереза Жира поженились в Буше, но в жизни новой семьи фигурировала и Овернь, где родился отец Жозефа. Многочисленный клан Жирамов много лет проводил долгие летние месяцы в Вивероле в департаменте Пюи-де-Дом, где находится одноименный спящий вулкан – самый высокий в краю, изобилующем вулканами. Жира говорил мне, что это его самый любимый регион Франции, известный горами, кратерными озерами, туфовыми конусами и куполообразными вулканами: эти темные холмы, напоминающие курганы, и есть те самые «пюи» – характерная часть местных топонимов.

По рассказам иногда кажется, что Жозеф Жира был слегка неприветливым, непреклонным педантом. Но это далеко не полная картина. В пять лет он остался без отца, и его вместе с двумя братьями устроили в иезуитский Коллеж святого Иосифа в Авиньоне. В 1899 году он продолжил образование в Национальной школе хартий – учебном заведении общенационального значения для архивистов, библиотекарей и палеографов; кстати, годом ранее ведущие специалисты Школы единодушно заключили, что почерк, которым было написано «бордеро», – это не почерк Альфреда Дрейфуса. То был звездный час Школы хартий, хотя дело Дрейфуса тянулось еще несколько лет. «Мой отец часто говорил об этом подвиге „хартистов“, – вспоминал Жира. – Он был дрейфусар, в некотором роде радикальный социалист старой школы»¹³.

Жозеф Жира участвовал в Первой мировой войне в чине лейтенанта и был ранен в голову шрапнелью в Реймсе – городе у северных рубежей Франции, который ожесточенно обстреливала германская артиллерия. Будь тогда антибиотики, рана зажила бы без осложнений, но в те времена помощник военврача просто забинтовал Жира-старшему голову и отправил его на поправку домой. В Авиньон он приехал еле живой, понадобились хирургическая операция и длительная госпитализация. С тех пор и всю оставшуюся жизнь он был решительным противником войны. «Он сознавал, насколько все это глупо», – сказал мне Жира. Старший брат Жозефа, Анри – капитан, командовавший молоденькими необстрелянными солдатами, – погиб при финальном наступлении во время битвы при Сомме, одной из самых кровопролитных в истории человечества. Пьер, младший брат Жозефа, уцелел и стал в Авиньоне преуспевающим врачом. Жозеф тоже обосновался в Авиньоне навсегда.

¹² Conklin Alice L., Fishman S., Zaretsky R. France and Its Empire Since 1980. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 331.

¹³ Girard R., Anspach M. Entretien // René Girard. P. 27.

Жирар называл своего отца «типичным архивистом». У него было несколько подчиненных, а из дома на л'Аррузер, расположенного сразу за крепостной стеной близ вокзала, он ездил на работу на мопеде. Его очень уважали как человека и историка, но опыт войны не прошел бесследно. Некоторые обвиняли Жозефа в упрямстве и закостенелой приверженности своим методам. Марта вспоминала о нем так: «очень милый, ни в коей мере не холодный человек». Она сообщила, что, как ей рассказывали, в бытность большим начальником он однажды в сердцах разбил тарелку. Осколки этой тарелки давным-давно собрали и со вздохом выбросили на помойку, но этот момент крепко запомнился семье именно потому, что был нетипичным. Что до Терезы, то «у нее был несколько скептический взгляд на жизнь – собственно, весьма скептический, – вспоминала Марта. – Она часто говорила: *les gens sont mauvais* — „люди злые“». И все же мадам Жирар была добрая католичка и по воскресеньям, а также в церковные праздники водила детей в несколько городских церквей, в том числе в собор XII века Нотр-Дам у Папского дворца. На фотографии, сделанной в день первого причастия, ее темноволосый сын серьезен и держится очень прямо, сознавая важность события. Но лет в двенадцать-тринадцать он перестал ходить к мессе. Правда, позднее, в лицее записался на факультативный курс катехизиса – возможно, под материнским влиянием.

«Я, знаете ли, склонен разделять вкусы моей матери, а она любила классику, – сказал он однажды, сидя в своей гостиной на Френчменс-роуд (кстати, название улицы – как по заказу). – Во Франции семьи среднего класса, воспитанные в уважении к образованию, обычно тяготели сугубо к классической музыке, причем исключительно немецкой. Любопытно, что французскую музыку они оставляли без внимания, потому что историческое развитие музыки начинается с предшественников Баха и завершается Шубертом. И только самые дерзкие делают шаг дальше, к Стравинскому и Малеру», – добавил он со смешком.

Жирар рассказывал, что центральную роль в его детстве играла «безмятежная и уютная среда обитания, при абсолютно нормальной семейной жизни»¹⁴. Однако разница в возрасте между мужем и женой составляла около двенадцати лет, темпераменты и характеры тоже были разные. Красной нитью через воспоминания Жирара проходят пусть и несерьезные, но неизбежные разногласия между отцом и матерью. Жирар многое унаследовал от обоих родителей, и в его натуре развились оба начала – отцовское и материнское. А то, что мать была благочестивая католичка, а отец – антиклерикал-республиканец, во многом отражает историю Авиньона вообще. Перепрыгивая столетия, католичество пронизывало жизнь обитателей региона словно переменный электрический ток: отрицательный заряд сменялся положительным, положительный – отрицательным. Тема католичества всегда была крайне животрепещущей. Кто-то был за, кто-то – против, но никто не оставался к ней равнодушен. Схожим образом этот сюжет разыгрывался и в семье Жира.

Сам Жирар как-то сказал: «Я был воспитан в духе двойной религии – дрейфусарства и (с материнской стороны) католичества, хотя о существовании Пеги узнал лишь спустя долгое время»¹⁵.

* * *

Что больше всего запомнилось Рене Жирау из детства? Книги. Мать, любившая искусство и литературу, читала всем детям «Обрученных» Алессандро Мандзони.

¹⁴ Girard R. (with Antonello P., de Castro Rocha J. C.). *Evolution and Conversion: Dialogues on the Origins of Culture*. London: Continuum, 2007. P. 17.

¹⁵ Girard R., Anspach M. *Entretien*. P. 27. Шарль Пеги был самым знаменитым дрейфусаром-католиком – и, следовательно, живым символом этой «двойной религии».

Но у Жирара в основном формировались собственные вкусы. С младых ногтей в нем проявилась склонность, которую он сохранял всю жизнь, – идти своей дорогой, заниматься по индивидуальному учебному плану, руководствуясь собственными увлечениями и интуитивными стремлениями. Предубеждение против всего институционального проявилось у Жирара в весьма юном возрасте. «Я очень рано стал заниматься самостоятельно. Ребенком я не выносил школьной атмосферы. Поэтому мать забрала меня из маленького лицея, чтобы я брал уроки дома».

Когда его собеседник Марк Анспах спросил, что конкретно ему не нравилось, Жирар разругал школу в пух и прах: «Всё! Учительница показалась мне устрашающей особой. Я терпеть не мог классную комнату, терпеть не мог перемены, всех этих детей... Собственно, я терпеть не мог глупость. И потому мать записала меня на частный курс обучения, где, кроме меня, было всего два ученика. Отец называл его „школой избалованных детей“. В итоге до десяти лет в моей жизни не было настоящей школы. Уроки занимали очень мало времени, а читал я все, что только пожелаю»¹⁶.

«У меня было и до сих пор есть сильнейшее ощущение, что я родом из своего детства, – сказал он как-то. – У меня было чрезвычайно счастливое детство, и я всегда старался окружать себя вещами из детства. Простыми вещами, такими как еда или читанные в детстве книги – вроде моего „Дон Кихота“ в сокращенном издании или романов графини де Сегюр»¹⁷.

Поразительно, в какой огромной мере три книги, прочитанные им в детстве, – это составляющие генерального плана работы, которую он проделал на протяжении всей жизни. Первая и главная из этих книг – «Дон Кихот»: ее Жирар прочел в десять лет в издании, где текст был пересказан для детей, а картинки были не менее запоминающимися, чем слова. В них подчеркивалась сатирическая сторона Сервантеса, и Жирар находил иллюстрации очень смешными. «Когда я писал о „Дон Кихоте“ в „Лжи романтизма и правде романа“, то держал в голове именно этот зрительный ряд», – говорил он¹⁸. Потому-то Жирар не отождествлял себя с рыцарем, застрявшим во мраке отсталости, и не воспринимал его как симпатичного персонажа – это пришло позднее. Драгоценный томик сохранился в его библиотеке, и Жирар регулярно возвращался к «Дон Кихоту» всю жизнь.

Эта книга, несомненно, повлияла на его антиромантическое мировоззрение, предопределив стойкое отвращение, которое сохранялось спустя долгое время и после того, как он дописал последние страницы «Лжи романтизма». Когда я говорила ему, что в детстве любила «Отверженных» Виктора Гюго, то, будучи человеком тактичным, он ничего не отвечал, а лишь иронично кривил губы.

Второй книгой была «Книга джунглей» Редьярда Киплинга, прочитанная примерно в том же возрасте. Он находил, что это впечатляющее описание механизма козла отпущения с такими вездесущими темами, как коллективное насилие толпы, склонные к подражанию обезьяны и линчевание хромого тигра. На страницах Киплинга Жирар впервые открыл, что мы заново переписываем свои истории, чтобы сделать из жертвы виновника и скрыть этим самым нашу коллективную вину.

В трудах Жирара Киплинг появляется нечасто – любопытное умолчание, если учесть, что впоследствии он сказал о «Книге джунглей»: «Я постепенно осознал, что в ней содержится вся миметическая теория, и это, по сути, экстраординарно». Третья книга войдет в его жизнь несколькими годами позже. Тем временем его любимой игрой была забава, которой предаются в одиночку: он брал игрушечных солдатиков и воспроизводил главные битвы французской истории, один выступая во всех ролях. Иногда он лепил из глины целые парламенты и

¹⁶ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 22.

¹⁷ Girard R. (with Antonello P., de Castro Rocha J. C.). Evolution and Conversion. P. 26.

¹⁸ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 22.

депутатов. Воссоздавал войны Средневековья, Наполеоновские войны, битвы при Аустерлице и Ватерлоо. «Я также читал книги о Наполеоне, – сказал он. – Выучил все стереотипные фразы вроде „Только первая и последняя битва имеют значение“». Он показал рукой на книжную полку. «Видите эту библиотеку в книжном шкафу в стиле Людовика XVI? Это библиотека моего отца: он был историк. В ней имелись книги, которыми я интересовался, например история Революции, написанная Луи Мадленом. Она меня по-настоящему захватила». Когда Гитлер укреплял свою власть в Германии, Жирар поддался массовому помешательству на другом вошедшем в историю авиньонце – Нострадамусе. В XVI веке тот родился примерно в двадцати милях от города и учился в Авиньонском университете. Правда, Жирар отзывался о Нострадамусе презрительно («какой-то полоумный»), и все же он и его ровесники дивились упоминаниям о «Hister» – «Гистере» – и трактовали слова Нострадамуса как пророчество о возвышении фюрера.

«С весьма раннего возраста, с двенадцати лет, я живо интересовался политикой. Ощущалось, что близится война – уже в 1932–1936-м, – сказал он. – У меня был какой-то странный возбужденный интерес к политике – чувство опасности, но, несмотря ни на что, какое-то пьянящее»¹⁹.

* * *

Рене был вторым из пяти детей. Его брат Анри, на три года старше него, пошел по стопам дяди Пьера и занялся медициной. Сестра Марта в итоге обосновалась в Париже, а другая сестра, Мари, на десять лет младше Рене, переехала в Марсель. Самый младший ребенок в семье, Антуан, родился спустя более чем пятнадцать лет после Рене и, в сущности, принадлежал к другому поколению.

Рене Жирар был болезненным ребенком. Рассказывал, что последним в Авиньоне заболел брюшным тифом – а было ему тогда лет десять-одиннадцать. Лечил его дядя Пьер. «Это была затяжная история», – пояснил он, изящно взмахнув рукой. Тиф длится не бесконечно, но пациенту кажется таковым; болезнь обычно затягивается примерно на месяц, истощая и выматывая жертву. Возбудители тифа содержатся в загрязненной пище или воде, а затем передаются от человека к человеку; характерные симптомы – высокая температура, диарея, головная боль и кашель, озноб и усиленное потоотделение, боли, бред. В те времена, за два десятилетия до того, как тиф начали лечить антибиотиками, он все еще убивал массу народу, и у матери были все основания опасаться за Рене.

Несколько раз его спасали от серьезных болезней. То, что в семье был свой врач, определенно выручало. Он вспоминал о воспалении правой ноги и куче других хворей. И добавлял небрежно, что на юге Франции так уж повелось – «смертельные опасности оказываются ерундой». Значит, он был хрупким ребенком? «Так считала моя мать, не вполне обоснованно», – сказал он. Марта добавила: «Она его обычно баловала».

Свидетельство тому – фото из семейного альбома: посередине удовлетворенно улыбается темноволосый мальчик в свитере и коротких штанишках, сознающий, что его обожают. Семейно держит под руки двух заботливых бабушек – они стоят по бокам от мальчика, затянутые в темные платья, какие ассоциируются со Старым Светом. Другие взрослые и дети размещаются вокруг этого композиционного центра. Очевидно, мальчика продолжали баловать – дали ему домашнее образование, а позднее радушно принимали, когда он, живя в Лионе или в Париже, просился обратно домой, к семейному очагу.

¹⁹ Ibid. P. 24–25.

* * *

Марта и Рене, сидя за чаем в своей гостиной на Френчменс-роуд, забывают о всех заботах. Марта наливает чай в чашки из костяного фарфора. Марта сочла, что Рене отозвался об Авиньоне слегка несправедливо, и принялась вспоминать шарм старого города, называя его «чудесным местом».

Но по одному вопросу Жирар в тот день высказывался категорично. «Мне следовало бы пойти учиться в иезуитскую школу», – сказал он с неожиданным жаром, когда мы говорили о его образовании в те давно ушедшие времена. Отец Жирара безапелляционно возражал против идеи отдать его в такую школу. Чуть позже Жирар пожал плечами и засмеялся, вспоминая об отцовском антиклерикализме, выражавшемся в пламенной неприязни к иезуитам. Собственно, отец учился как раз в авиньонской иезуитской школе, обладавшей определенной жизненной энергией. Как-никак в 30-е годы XVII века коллеж почтил своим пленительным присутствием Афанасий Кирхер. Где-то под внутренним двором – на этом месте находилась францисканская церковь, позднее снесенная, – покоится Лаура, возлюбленная Петрарки. Остается лишь гадать: то ли в иезуитской школе Жирару, этому блистательному сыну Авиньона, действительно было бы лучше, то ли тяга к озорству прорезалась бы у него даже раньше. Альтернативой был Лицей-коллеж имени Фредерика Мистрала – сегодня он занимает красивое здание в одном из авиньонских переулков, над которым дугой изгибается крытый мост. Но Жирар сказал мне, что со времен его учебы лицей переехал. Некоторые хвастались, что учились «в классе Стефана Малларме», но в 1864 году двадцатидвухлетний поэт всего лишь заходил к другу, учителю лицея. Тем не менее легенда сохранилась.

Обе школы сулили Жирару прекрасное образование. Сегодня большинство американцев просто представить себе не может, какая прекрасная система образования была доступна французским детям в ту эпоху. Учителем в провинцию отправляли лучших из лучших, выпускников Высшей нормальной школы и других элитных учебных заведений. В те годы среди этих выпускников была и Симона Вейль, отработавшая некоторое время в школе в Ле-Пюи-ан-Веле в любимой Жираром Оверни: она вела там латынь, древнегреческий, философию, естествознание и французскую грамматику.

Однако когда Жирара держали в загоне, дело у него никогда не клеилось, и после «школы избалованных детей» ему пришлось остаться на второй год в шестом классе: очевидно, возвращение в массовую школу стало для него чрезмерным потрясением. И все же, по-видимому, лицей оставил кое-какие приятные воспоминания, и Жирар обрел там горстку единомышленников: «У меня было несколько друзей, очень увлекавшихся литературой, но их вкусы были типичны для эры позднего сюрреализма. Над нашими головами царственно кружил Рене Шар – знаменитый поэт, впоследствии пригласивший Хайдеггера на „Семинары в Ле Торе“». Поэт «был очень любезен со своими молодыми друзьями, которые его идеализировали, хотя заинтересоваться его поэзией я так никогда и не сумел»²⁰.

Жирар часто говорил, что был отличником, пока не перешел в старшие классы – вероятно, пока не разбушевался пубертат со всеми вытекающими последствиями. Он называл себя «расхлябанным буяном». Наверное, он не был вожаком проказников в строгом смысле слова, но прослыл смутьяном и подстрекателем – а значит, именно ему с наибольшей вероятностью приходилось отдуваться за проделки. Его наказывали, заставляя по субботам сидеть в школе под арестом. Это принесло неожиданную пользу: так он свел близкое знакомство с Полем Тулузом, Жаком Шарпье и другими мальчиками, которые стали его друзьями.

²⁰ Girard R. (with Antonello P., de Castro Rocha J. C.). *Evolution and Conversion*. P. 19.

По некоторым школьным табелям Жирара складывается немного иное впечатление: после крайне неудачной учебы в шестом классе он повторил год и на сей раз удостоился награды за отличную учебу, как и за следующие два класса. Хотя в годы непослушания его вычеркнули из «списка почета», он почти неизменно получал вполне сносные отметки: *très bien*, *assez bien* и *bien*²¹. На уроках английского он блистал: не менее двух раз был лучшим в классе, – и на уроках истории тоже. К третьему классу его когда-то «примерное» поведение дало трещину – учителя отмечали, что он слишком легко отвлекается и не может усидеть на месте. Один учитель заметил, что Жирар – хороший ученик, когда не распускает язык. В первом классе его успехи в математике оценили как «недостаточные» и велели «взяться за ум», зато по части латыни его сочли «весьма одаренным». Отзывы критические, но вряд ли катастрофические.

К тому времени ему исполнилось пятнадцать, и свою роль стали играть другие аспекты взросления. Он рассказывал о юных кавалерах, которые, напыжившись, гуляли по рю де ля Републик, и, возможно, сам был таким кавалером – наряжался, чтобы нравиться: ему смерть как хотелось производить впечатление на девчонок. Но в те годы молодечества возник фактор и поважнее: война, бушевавшая где-то вдали, мало-помалу становилась во Франции реальностью. В сентябре 1938 года, во время Судетского кризиса, Франция мобилизовала полмиллиона резервистов вдобавок к полумиллиону человек, поставленных под ружье еще раньше. Для школ это обернулось хаосом: мужчин-учителей призвали в армию, их заменили менее опытные преподаватели, среди которых было много женщин. Мальчишки, как и следовало ожидать, извлекли пользу из ситуации, и непослушание распространялось как зараза. Жирар даже в самом солидном возрасте не уставал упоенно вспоминать о проделках: однажды он и его соучастники сняли с петель дверь и поставили ее поперек дверного проема наподобие баррикады. Чтобы войти в класс, другим ученикам пришлось перелезть через барьер. К счастью, пожилой учитель, объект множества насмешек, – а был он одним из первых борцов за права животных и в конечном итоге мужественным человеком (Жирар это впоследствии признавал), – пожалел непослушных подопечных и не стал сообщать директору об инциденте.

Наступил момент, когда история сокрушительным образом пересеклась с жизнью Жирара. После Французской кампании французы в июне 1940 года сдались Германии. «Странное поражение» Франции, как это нарекли чуть позднее, мрачной тенью висело над Жираром на протяжении всей его жизни, хотя последствия капитуляции не сразу сказались на его подростковых дурачествах. Вначале Авиньон входил в *zone libre*, занимавшую две пятых французской территории и находившуюся под управлением режима Виши и маршала Петена. Но демократию уже упразднили, и *zone libre* сотрудничала с Германией, хотя под полной оккупацией оказалась лишь через два года. Население нервничало. Потому-то следующая проделка мальчишек, в октябре 1940 года, возымела более серьезные последствия²².

Жирар и несколько его друзей позвонили директору лица, прикинувшись сотрудниками Министерства образования в Виши. Позвонили они с почты – телефоны тогда были лишь в немногих частных домах в Авиньоне – и, говоря в замотанную носовым платком трубку, известили о начале программы, призванной отправить на пенсию заслуженных преподавателей. Звонили они в пятницу; готовиться к программе следовало спешно, потому что мероприятие

²¹ «Отлично», «хорошо», «удовлетворительно» (*фр.*).

²² Даты в документах, касающихся образования Жирара, не всегда совпадают с его воспоминаниями, особенно если пытаться принять во внимание периоды, когда он долго болел или находился на домашнем обучении, а также дисциплинарные меры и другие обстоятельства, не все из которых отражены в письменной документации. Марта Жирар и я проводили целые дни, анализируя эти периоды его жизни, – казалось, мы разгадываем кроссворд, – но так и не смогли устранить расхождения между версиями. Рене Жирар мог быть неаккуратен по части дат, но опыт приучил меня доверять его воспоминаниям. Он четко запомнил, что этот инцидент случился при режиме Виши, когда такие проделки стали намного рискованнее.

начнется с торжественной церемонии поднятия флага рано утром в понедельник, как только лицей откроет двери.

«После наших звонков – а мы звонили просто для смеху, – не успели мы уйти с почты, как приехала полиция нас арестовывать. Они знали, что мы натворили. Телефоны прослушивались. На почте в то время работали телефонистки. Никакого вам „хайтека“». Жирар добавил: «Когда полиция приехала на почту нас ловить, я не на шутку перепугался. Если бы дело не осталось на уровне лицея, а было бы передано наверх, в городскую администрацию Авиньона, оно приняло бы намного более серьезный оборот»²³. Он жил в покоренной стране, где действовали новые правила. Школьная администрация вряд ли проявила бы снисхождение, особенно в первые напряженные дни при новой власти. Чаша терпения переполнилась. Возможно, сообщники Жирара разбежались или как-то словчили, чтобы не попасться, либо отделались относительно легким наказанием, потому что были в школе не на таком плохом счету. Жирар выделялся своим озорством на уроках и во внеурочное время, да и успеваемость хромала. Его отца вызвали в школу.

В строгом смысле слова Жирара не «отослали» из школы, как говорят британцы; кстати, учился он тогда в *terminale* – выпускном классе. Возможно, благодаря тому, что его отец был муниципальным служащим и видным местным деятелем, со школой была достигнута джентльменская договоренность: Жирар перестанет посещать занятия и не будет доучиваться в выпускном классе лицея, а вместо этого будет готовиться к экзаменам на степень бакалавра дома, самостоятельно. Жирар предпочитал говорить, что из школы его выперли; так оно фактически и было.

«Мой отец был членом попечительского совета, так что меня не исключили официально. Отец забрал меня из школы. Но, очевидно, он был не в восторге»²⁴. Жирар добавил: «Изображать все так, будто я был настоящим *bouc émissaire*, козлом отпущения, – это чересчур. Если я и был козлом отпущения, то комическим»²⁵. Многочисленные проделки создали ему среди товарищей мятежный, слегка героический ореол, а другие тем временем (вот типичный миметический механизм) испытывали resentment – их раздражали его способности к учебе, сочетавшиеся с громкими проказами.

У Жирара была потребность находить юмор во всем, в чем его только можно найти. Одной из новых инициатив вишистского режима были *Chantiers de la jeunesse française* – воензированные молодежные лагеря, призванные прививать юношеству новые национальные ценности, в том числе культ Петена. Учебная программа была близка к скаутской: подростки жили в лесу и занимались физическим трудом. Однако, в отличие от пребывания в скаутских лагерях, это была обязательная повинность месяцев на шесть. Запрещалось слушать радио и разговаривать о политике. Жирар возненавидел эту «учебку», как только оказался в лесу. Он попросил своего старшего брата Анри, студента-медика, устроить ему досрочное освобождение от лагеря из-за выдуманного «шума в сердце» и даже был готов поэкспериментировать с медикаментами, чтобы сделать иллюзорную хворь реальной, – лишь бы отпустили домой. Отец проницательно учел характер сына и устроил так, чтобы Жирар увильнул от следующего этапа – STO (эта аббревиатура расшифровывалась как *Service du travail obligatoire*, «служба обязательного труда»). Это была трудовая повинность для молодых трудоспособных французов: им полагалось заменить на заводах и фермах Германии немцев, мобилизованных в армию.

Для Жозефа Жирара это был дополнительный резон призывать сына приналежать на учебу, когда Рене самостоятельно готовился к экзаменам на «лё бак». Хотя в последние годы эти экзамены критикуют за нетребовательность к учащимся, в те времена это был, бесспорно, трав-

²³ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 25–26.

²⁴ Ibid. P. 25.

²⁵ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 25.

матичный обряд перехода, отличавшийся устрашающей суровостью. У большинства нынешних американских школьников глаза бы полезли на лоб: от кандидатов в бакалавры ждали, что они толково прокомментируют сложный текст, написанный в XII веке философом и теологом Ансельмом Кентерберийским, или страницу из труда Шопенгауэра о желании и лишении. А вот несколько примерных тем для сочинений: «В чем наш долг перед государством?», «Вытекает ли беспристрастие историка из объективности истории?» и «Можно ли считать язык всего лишь средством?». Изнурительная череда экзаменов – их сдают как в устной, так и в письменной форме – затягивается на долгие часы. На кону стоит очень много: в результате отсева на экзаменах неудачники отправляются искать работу, а лучшие из лучших – продолжать образование в *grandes écoles*²⁶. Эти небольшие, хорошо финансируемые учебные заведения для избранных готовят будущую элиту страны – *hauts fonctionnaires*²⁷, ведущих промышленников, высшее командование армии, видных политиков, инженеров, физиков и так далее.

Сведения в источниках разнятся: Жирар получил *baccalauréat* то ли в 1940-м, то ли в 1941 году. И то и другое правда, поскольку Жирар, вероятно, получил два аттестата. Первый – общий для всех школьников: его было необходимо получить, чтобы претендовать на признание своих способностей в более специализированной области. Однако Жирар превзошел ожидания, получив второй *baccalauréat* по философии в авиньонском Лицее Мистрала – и это был аттестат с отличием. «С того момента отец заново удостоил меня своего доверия. Я свел счеты со школой, но и для него это тоже было что-то вроде реабилитации»²⁸.

В период его учебы в лицее и дома обнажился паттерн, который в последующие годы проявится снова и снова: Жирар, умный не по годам, живой и проказливый ребенок, игнорировал институциональные структуры и лучше всего учился, когда его творческому уму давали карт-бланш, а ему самому позволяли оставаться наедине с книгами. «Кто есть Дитя? Отец Мужчины».

Война бушевала, и, по воспоминаниям Жирара, его высокородная мать предпринимала героические усилия, чтобы при скудном распределении по карточкам добыть для семьи продовольствие. Она проявляла большую ловкость, и Жирары никогда не голодали. Зелень и фрукты в город поступали только из садов и огородов, оливковое масло было в изобилии. Семейству все еще удавалось отражать натиск войны, оно собиралось у радиоприемника, чтобы слушать передачи Би-би-си на французском языке.

«Во Франции в первые годы оккупации продовольствие становилось дефицитом, но ничего трагического в этой ситуации не было, – разъяснил мне Жирар. – Би-би-си – это была важнейшая церемония всего дня, в восемь часов. Ее глушили немцы, а может, и французы, но поймать Би-би-си все-таки удавалось. Удавалось всем. Помехи от глушилок ты слышал как бы вдалеке. Никакой опасности это не несло. Во Франции под оккупацией было не так, как в Польше».

Он преуменьшал масштабы коллаборационизма, утверждая, что 95% населения всецело симпатизировали странам антигитлеровской коалиции и дожидались высадки их войск, хотя и признавал, что поддержка была не очень активной. В других источниках, говорил он, «часто твердят, что юг Франции был весьма провишистским, но это преувеличение. Да, конечно, песню „*Maréchal, nous voilà!*“ („Маршал, мы здесь!“)²⁹ сочинили в Авиньоне, и ее автор – авиньонец. Но в кинотеатрах вообще-то освистывали нацистов. Думаю, в этом отношении „Печаль и жалость“³⁰ вводит зрителей в заблуждение. В кино люди открыто аплодировали Англии, а

²⁶ Высших школах (*фр.*).

²⁷ Старших должностных лиц (*фр.*).

²⁸ *Girard R., Anspach M. Entretien. P. 27.*

²⁹ Эта песня, написанная в поддержку Петена, заменила собой «Марсельезу», которую до этого пели хором в школах по всей Франции перед первым уроком.

³⁰ «Печаль и жалость» (*Le Chagrin et la Pitié*, 1969) – французский документальный фильм режиссера Марселя Офюльса

позднее – русским. Они не оказывали активного сопротивления, но желали победы союзникам – бесспорно, слишком пассивно, но с большим чувством. Наши шутки про отдавание чести флагу, очевидно, замыслились как насмешка над режимом. В моей компании все были против Виши»³¹.

Надвигавшуюся катастрофу мало кто предчувствовал. Возможно, лучше всего это объяснил Жирар несколькими годами позже – он написал, что никто не воспринимал 1940 год как финальную главу, как последнее слово во франко-германской наследственной вражде: «Эти люди ни за что бы не поверили, что безумцы из Нюрнберга могут по своему капризу формировать Европу. Когда Франция – а они ведь думали, что у нее аллергия на болезнь нацизма, – сдалась Гитлеру, они отказывались считать эту капитуляцию окончательной». Возможно, это был способ одержать верх над победителями и отказать Гитлеру в победе: «По их оценкам, олицетворяемый Францией тип интеллектуальной жизни настолько превосходил нацизм, что они отказывались признавать, что фашистская жестокость может рано или поздно растоптать этот тип жизни или переманить его на свою сторону»³².

Будущее Жирара оставалось под вопросом. В 1941 году у него появилось желание сдать вступительный экзамен в Высшую нормальную школу – самую престижную из всех *grandes écoles*. «И поэтому я поехал в Лион, чтобы пройти *hypokhâgne* [обучение на первом курсе отделения, где готовили к вступительным экзаменам в Высшую нормальную школу – *Примеч. авт.*]. Но через несколько недель уехал восвояси. Дело было в начале оккупации, были материальные проблемы. Питались мы плохо. Хейзинг³³ – вот что было вконец невыносимо. Я вновь обнаружил у себя страх перед школой, который испытывал в детстве. Я приехал домой, сказал матери: „Невозможно, я не могу этим заниматься“. Так я отказался от идеи поступить в Нормальную школу».

Тогда отец предложил ему готовиться к поступлению в Школу хартий дома, в одиночестве – так, как он раньше готовился к «лэ бак». «Чтобы подготовиться к учебе в Школе хартий самостоятельно, я придумывал всевозможные упражнения. Писал без словаря бесчисленные сочинения на латыни, – сообщал Жирар³⁴. – В то время меня заботило только одно – как отсрочить расставание с родительским гнездышком, так что я согласился и прожил еще один год дома»³⁵. Идея была неплохая: Прованс относился к *zone libre*, и многие люди бежали с севера Франции на юго-восток страны, где при режиме Виши сохранялась относительная свобода. Должно быть, решение остаться в родительском доме в Авиньоне выглядело крайне разумным.

Однако в ноябре 1942 года немцы распространили полномасштабную оккупацию на юг Франции, а итальянцы заняли небольшой кусок французской территории восточнее Роны.

* * *

На рю де ля Републик в этом слегка обветшалом городке булочные и кондитерские торгуют шоколадом и местными лакомствами. По утрам в ожидании туристов, забредающих сюда даже в мертвый сезон, продавцы укладывают печенье в коробки, ряд за рядом. Нужно обладать чем-то вроде двойного зрения, чтоб взгляд проник сквозь патину современности и уви-

о сотрудничестве режима Виши с нацистами. – *Примеч. ред.*

³¹ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 26.

³² Girard R. American Opinion of France, 1940–1943 (PhD diss., Indiana University, 1950). P. 77.

³³ Жирар употребляет английский термин «hazing» – ритуализированное жестокое, унижительное обращение с желающими вступить в некое сообщество. В данном случае (и в практике учебных заведений в англоязычных странах) «хейзингом» называется обращение студентов-старшекурсников с первокурсниками. – *Примеч. пер.*

³⁴ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 27.

³⁵ Girard R. (with Antonello P., de Castro Rocha J. C.). Evolution and Conversion. P. 19.

дел регион, откуда папы когда-то правили средневековым миром, и город, где спустя некоторое время церкви подверглись разграблению и улицы обагрились кровью. Человеку, которому было суждено писать труды о насилии, поисков козлов отпущения, линчевании и беснующихся толпах, не приходилось далеко ходить в поисках примеров – достаточно было окинуть взглядом родные места, а точнее, дойти всего лишь до Папского дворца.

На экскурсии по Дворцу приходишь к целой стене с картинами из его истории, в том числе с гравюрой, где изображена кровавая бойня, случившаяся в этих древних белых стенах. Эта страница истории вводит в локальный контекст антиклерикализма и повествует о тех крайностях, до которых довели антиклерикализм несколько столетий назад.

«Французская революция была просто-таки поразительным событием, – возбужденно сказал Жирар. – Она в наибольшей степени предвосхитила Русскую революцию. Франция – первая великая держава, которая стала атеистической».

В июне 1790 года революционно настроенные авиньонцы изгнали местного представителя папы римского – изгнали из города, который более четырех веков был владением Папской области, – и потребовали объединить Авиньон с Францией. В июле того же года французское правительство национализировало церковное имущество, упразднив монастыри и монашеские ордены. Спустя год с небольшим, в сентябре 1791 года, Национальное собрание ратифицировало аннексию Авиньона. В начале октября светские муниципальные власти города решили отправить церковные колокола на переплавку и получить деньги за металл; этот шаг подготовил почву для упорядоченного секулярного разграбления церковного имущества. Это разграбление, а также несколько явлений Пресвятой Девы Марии верующим неподалеку привели к коллективному убийству Лескьера, секретаря местного суда: толпа прикончила его во францисканской часовне. Вмешались войска, арестовали десятки подозреваемых, в том числе двух беременных женщин. Примерно шестьдесят человек заключили под стражу в Папском дворце. Их казнили по одному, неумело, швыряя трупы в дворцовый ледник. Палачи трудились до поздней ночи; средством вдохновения и способом притупить совесть на этой работе им послужили двадцать бутылок крепкого спиртного.

События 16–17 октября 1791 года, прозванные Резней в Ледяной башне, знаменовали последнюю попытку Авиньона отстоять свою независимость от государства и мрачно предвещали якобинский террор.

Реакция на эти зверства не утихала несколько десятилетий: Жюль Мишле посвятил этим событиям две главы своей «Истории Французской революции» (1847). Но впереди ждали другие потрясения. Хотя в период консульства Наполеона Бонапарта спокойствие наконец-то восстановилось, а папа в 1797 году смирился с включением Авиньона в состав Франции, император и его режим по-прежнему были здесь не в чести. 25 апреля 1814 года, по пути на остров Эльба, Наполеон сделал остановку в Авиньоне и едва спасся от толпы, готовой разорвать его в клочья. Его сторонникам иногда везло меньше. На заре Белого террора в период реставрации Бурбонов убили наполеоновского маршала Гийома Брюна, героя Империи: толпа авиньонцев линчевала его и швырнула труп в Рону. На портретах Брюна, написанных в Наполеоновскую эпоху, изображен бравый красавец с волевым подбородком и дерзостью во взоре, в мундире, украшенном перевязями и орденами, лентами и эполетами. Однако – как обстоит дело со многими старинными портретами – мы знаем о страшном уделе галантного кавалера, который смотрит с полотна как живой; мы видим, как это решительное умное лицо исчезает в холодных, бурных волнах Роны. Брюн был непоколебимым республиканцем, чем возбуждал подозрения у Наполеона, а также победоносным военачальником и дипломатом – но не устоял в неравном бою с толпой роялистов, уже одержавшей победу во Франции на более широкой арене.

Заинтересовавшись этой историей, я листаю толстый труд Жозефа Жирара «Évocation du vieil Avignon» – «Воспоминания о старом Авиньоне». Обо всех местных массовых убийствах и линчеваниях – хаосе революционной эпохи – в книге упоминается скупое. Немногочисленные

истории на эту тему перемежаются зарисовками про кардиналов и королей. Но сын Жозефа стал хорошо разбираться в теме насилия и в последующие десятилетия писал о ней, находясь вдали.

Но даже в далекой Америке Авиньон оставался для него путеводной звездой: влияние этого города чувствуется в здравомыслии Жирара, его психологической независимости, аллергии на лицемерие, умении распознавать нелепости, непреклонном сопротивлении интеллектуальным модам.

У себя во дворе на Френчменс-роуд, среди колибри и цветов, он размышлял вслух: «Действительно ли я живу в Калифорнии? Сегодня человек может прожить где-то всю жизнь, оставаясь там „нездешним“. Так что я, вероятно, больше француз, чем кто-то другой. Учтите, во многих отношениях Франция не слишком отличается от Америки – но кое в чем отличается. У нее другие отношения с христианским прошлым». Как-никак долину Роны обратили в христианство то ли в I, то ли во II веке.

Прованс был для Жирара опорой и отправной точкой, хотя с 2008 года он больше не мог ездить во Францию – здоровье не позволяло. Он вспоминал об отце, сидя в кресле в стиле Людовика XV – исцарапанном, светлого дерева и с розовой бархатной обивкой, прежде принадлежавшем Жозефу Жирару. И, как всегда, напоминал мне, что его отец был хранителем Папского дворца.

Глава 3

Мрачные времена в «Городе света»

*Я никогда не забуду, что меня изгнали из Стаи.
Редьярд Киплинг. «Книга джунглей»*

Семья Жирар жила на Шеман де л'Аррузер, откуда была прекрасно видна и слышна железная дорога, так что дети играли в поезда и на фоне поездов. Но в мрачные времена немецкой оккупации обнаружилось, что у железнодорожного транспорта есть и негативные стороны. Во время отступления немецких войск страны антигитлеровской коалиции бомбили Авиньон, поскольку железная дорога – объект стратегический. Несколько бомб упало и близ дома семьи Жирар. Когда лет через десять Марта приехала сюда погостить, от нее этот факт скрыли: новоиспеченные свекор и свекровь решили, что невестку уязвит любое упоминание об американских бомбежках.

Вспоминая годы войны, Жирар сказал с нажимом: «Это не взволновало меня так, как должно было бы взволновать». Место этой фразы – в ряду его многочисленных высказываний о том, как бесстрастно он реагировал на происходившее вокруг; казалось, он сам был озадачен своим невозмутимым характером. Однако впоследствии я призадумалась: может, в таких обстоятельствах он просто не испытывал тех чувств, каких сам от себя ожидал, или тех чувств, которые испытывали, если верить их собственным словам, другие? Но найдется ли на свете человек, чьи подлинные чувства совпадают с его готовыми представлениями о жизни? «Оккупированный Париж парализовал меня», – заявил однажды Жирар³⁶. Этим сказано все.

* * *

В зимнюю пору Париж может быть неприветливым и унылым, особенно если пытаешься наладить жизнь в этом большом городе, вообще не имея там друзей, а вокруг – немецкие офицеры, нацистские чиновники и местные жители, в той или иной мере сотрудничающие с оккупантами. В годы войны Жирар был в этом городе студентом-провинциалом и жил, считая каждый сантиметр. Он вспоминал о голодающем Париже.

С 1943-го по 1947 год он учился в Школе хартий. «Ничего хуже я в жизни не испытывал», – говорил он с жаром. В Школу его в конце концов приняли – правда, он оказался одним из последних абитуриентов, зачисленных на курс. «Я это ненавидел. Я ненавидел Париж. Я ненавидел Париж, как никакой другой город». Жирар здесь был чужаком, и отнеслись к нему, по его словам, с некоторыми предрассудками, видя в нем провинциала-«южанина». Он, как всегда, хотел было «удрать обратно в Авиньон», но под немецкой оккупацией передвижения по стране были штукой трудной: уехать в Париж было проще, чем вернуться в Прованс. Первый год он дрожал от холода в неотапливаемом номере «Отель дю Скуар Монж» и его жизнь протекала, казалось, в основном в метро. Вдобавок немецкие оккупанты, естественно, отбрасывали тень на эмоциональную атмосферу в городе, провоцируя сложный комплекс чувств и переживаний: и отрицание очевидного, действовавшее как психологический защитный механизм, и страх, и внутренние противоречия.

«Всю жизнь я был способен работать только вне институций, а потому подсознательно работал против них. И, конечно, в очередной раз начал разыгрываться все тот же сцена-

³⁶ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 27.

рий, – рассказывал он. – Едва я поселился в холодном и голодном Париже 1942 года³⁷, мной, как обычно, завладело одно-единственное желание – вернуться домой. К счастью, этому препятствовала так называемая „демаркационная линия“ между оккупированной Францией и вишистской Францией. В общем, это благодаря немецким оккупантам я умудрился доучиться в Школе хартий»³⁸.

Второй год обучения прошел лучше, хотя в те годы у него куда-то делся дар отчебучивать веселые проделки и обзаводиться сообщниками по проказам или просто друзьями. Жирар был вынужден полагаться на милосердие незнакомых людей и в конце концов поселился на самой длинной улице Парижа. «К счастью, на втором курсе благодаря одному милосердному „хартисту“ мне дали место в общежитии, в доме 104 на рю де Вожирар. В студенческие годы там проживали в том числе Франсуа Мориак и Франсуа Миттеран (разумеется, не одновременно). Там были сыновья крупных землевладельцев из Нормандии или Иль-де-Франса, присылавших нам тонны картошки. Мне из Авиньона не присылали почти ничего съестного. Положение моей семьи не располагало к сделкам на черном рынке, ведь отец был хранителем музея и не имел в распоряжении ничего пригодного для обмена на продукты»³⁹.

В те годы его продолжали преследовать болезни. В Школе хартий он подхватил первичную инфекцию, которую посчитали предвестием туберкулеза. По переписке Рене Жирара, Жозефа Жирара и администрации Школы в тот период видно, как часто прерывалась учеба. В 1944 году Рене долго не посещал занятия (из-за болезни его также признали негодным к военной службе), в 1946-м снова был вынужден вернуться в Авиньон из-за пневмонии. Бесспорно, он еще и поэтому сфокусировался на родном городе в своей дипломной работе на тему «Частная жизнь в Авиньоне во второй половине XV века». Разумеется, эта тема была коньком его отца (Жирар-старший написал диплом об истории региона в конце XIV века): собственно, тот и помог ему с дипломной работой – и не только с замыслом, но и с его воплощением в жизнь. Выздоровливая, Жирар продолжал исследования в авиньонских архивах.

Трудно установить, испытывал ли он в те тяжелые годы подавленность из-за болезни или расхворался из-за душевной подавленности. Историк Юджин Вебер изложил свои едкие воспоминания об оккупации, и его рассказ позволяет почувствовать, что претерпел Жирар:

...архаичная нелепость трескучих фраз вишистов – жизнь в нравственной чистоте и вывихнутая логика; обозначение словом «национальный» самых неудобоваримых и никудышных продуктов и товаров – того, что невозможно есть, невозможно пить, невозможно курить, невозможно носить; апелляции к энергичности, жизнестойкости и мужественности; перебои с электричеством и жизнь в нетопленных комнатах; дефицит бумаги (настоящая пытка для расплодившихся бюрократов), натурального кофе, сахара и табака; похлебка из кошатины, мяса ворон или голубей; свирепый ураган праведности, призывающий запретить танцы, «Перно», «Дюбонне» и еще «иудео-американскую» музыку; сопутствующая этим призывам мода на джаз, свинг, подпольные вечеринки и порожденный всем этим сленг (быть *swing* значило быть крутым и продвинутым); мода на береты, чем больше – тем лучше: «очень практично – уши прикрывает», а после Освобождения – спешное расставание с беретами, поскольку оказалось, что они замазаны ассоциациями с Виши; демагогия с фигой в кармане,

³⁷ Жирара зачислили в состав студентов в декабре 1942 года, и в Париж он перебрался перед тем, как в январе 1943 года начались занятия. Во Франции студенты *grandes écoles* имеют статус государственных служащих: государство платит им за то, что они учатся, поскольку впоследствии они, как предполагается, будут на него работать.

³⁸ Girard R., Anspach M. Entretien. P. 27.

³⁹ Ibid. P. 27–28.

утрата чувства юмора, подкрадывающаяся исподтишка убогость; обтрепанная, залоснившаяся, замурзанная и засаленная одежда – вонючие, пропотевшие обноски⁴⁰.

Но хуже всего Жирау пришлось на первом курсе. Спустя годы, надежно укрывшись от бед в Америке, Жирау станет приезжать в Париж вновь и вновь, теперь уже вместе с Мартой. Однажды, вспоминала она, ее захлестнула послеродовая депрессия, и она приуныла. Жирау повел ее к дому 12 на рю дез Эколь, и они постояли перед этим зданием. «Вот это, *вот это*, – сказал он ей, чтобы она могла сравнить одно с другим, – и впрямь был настоящий ад». Воображаю, как после этих слов Жирау отдается безмолвному созерцанию, окидывая долгим, меланхоличным взглядом суровые серые очертания «Отель дю Скуар Монж».

* * *

В квартире супругов Жирау близ Эйфелевой башни я увидела на стеллажах несколько книг человека, о знакомстве с которым Жирау говорил с гордостью, – блистательного, харизматичного и колоссально популярного «еврея-кардинала» Жана-Мари Люстиже, который, как и Жирау, был «Бессмертным» – членом Французской академии. Этот интеллектual из Сорбонны, принявший христианство, родился в Париже в семье польских евреев; его мать погибла в Освенциме в то время, когда ее сын в Орлеане скрывался от нацистов. В подростковом возрасте Люстиже был и свидетелем, и жертвой произошедшего. Он оставил проникновенное свидетельство о противоречивости Франции в военные годы: «Кто мог бы понять, что вообще творится? Мир рушился, и его обломки валялись на нас... Целый мир разрушили, а его ценности выставили на посмеище... Как ты мог хранить верность Франции, идя против французов? Где тогда были предатели?»⁴¹ В другом месте интервью он отметил: «В оккупированной Франции многие люди перестали понимать, в чем разница между добром и злом, между тем, как подобает поступать, и тем, как не подобает»⁴². Тем не менее он говорил, что часто встречал и милосердие: незнакомые люди снабжали его поддельными удостоверениями личности, помогали пересечь демаркационную линию, предупреждали о скором аресте, без лишних вопросов давали ему приют. Другие потихоньку оставляли незапертыми двери железнодорожных вагонов.

Ситуация была конфликтная, сопряженная со всеобъемлющим моральным компромиссом. «Необходимо заявить, что Франция в общем и целом была за Петена, – говорил Люстиже. – В то же время все или почти все, кого я видел, относились к немцам враждебно. Некоторые из этих людей, в том числе мои товарищи по лицу, уже вступили в Сопротивление... те, с кем я водил знакомство в прошлом году, теперь находились бог весть где и занимались бог весть чем. Действовали в подполье? Были в Сопротивлении? В STO? Об STO было много разговоров»⁴³.

Из-за этой перспективы попасть в STO – быть мобилизованным на Service du travail obligatoire – Жирау как-то испытал сильнейший ужас за все годы войны. У него, как и у многих молодых французов, имелось поддельное удостоверение личности. И однажды он едва избежал ареста. Спустя много лет он во всех подробностях поведал мне, как это случилось.

В Париже вы чуть было не напоролась на немцев...

⁴⁰ Weber E. France's Downfall // The Atlantic. October 2001. P. 117–124.

⁴¹ Missika, J.-L., Wolton D. Choosing God, Chosen by God: Conversations with Cardinal Jean-Marie Lustiger. San-Francisco: Ignatius, 1991. P. 47.

⁴² Ibid. P. 54.

⁴³ Ibid. P. 51.

– А-а, это был единственный раз за всю войну, когда мне грозила настоящая опасность. В Люксембургском саду бывали? В общем, Мария Медичи – была такая королева в XVI веке – выстроила большой дворец, теперь там заседает французский Сенат. Там есть библиотека и много произведений искусства. Красивое здание с общедоступным садом. Но при оккупации там находился штаб немецких ВВС. Каждый день по дороге на занятия я проходил мимо его ворот, мимо входа. Незадолго до высадки в Нормандии я шел мимо, ни на что не обращая внимания, и вдруг увидел перед собой здорового французского полицейского. Он остановил меня и попросил предъявить документы. Он стоял там один, просил у меня документы... Я увидел, что позади него – еще одна линия оцепления. Там было несколько немцев, несколько штатских и несколько военных – они, совсем как он, проверяли документы. Если бы я пошел дальше, то натолкнулся бы на них. У меня было два удостоверения личности. Итак, я вконец растерялся, и полицейский это моментально заметил. Я дал ему одно из двух удостоверений. Но он сказал: «У тебя есть еще одно». Так и было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.